

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

Из рассказов моей мамы

Моя мама Маргарита Михайловна Шитикова (1929—2000) родилась в посёлке Оленино Тверской области. В десять лет осталась сиротой: отец погиб на фронте, а мать умерла в оккупации. Затем воспитывалась тёткой (сестрой матери) в Торжке, где и прожила всю жизнь, вышла замуж, вырастила детей и внуков. Работала продавцом «Торжокторга».

Мама никогда не смотрела фильмов о войне: «Я всё это видела, а вы смотрите». Когда мои дочери затевали картофельные олады — выходила из кухни и закрывала дверь: «Мороженой картошкой пахнет». О времени, проведённом в оккупированном немцами Оленино, говорить не любила. Но если о чём-то рассказывала, то непременно добавляла: «Если бы не добрые люди — сгинула бы...» Очень жалею, что не расспрашивала маму настойчиво и подробно. Но кое-что мне всё-таки записать удалось.

Пусть эти записи станут данью памяти родителям моего поколения — светлым и мужественным людям, которые после пережитых ужасов не утратили способности верить и любить и не боялись ничего на свете — ни жизни, ни смерти.

ВОЙНА

...Мы жили тогда в Зубцове.

Отец мой, Михаил Константинович Михайлов, работал директором ресторана на железнодорожной станции. Он был очень красив: среднего роста, черноволосый, кареглазый, всегда одетый с иголочки. Его не портила даже хромота, которую он пытался скрыть при помощи трости, сработанной местными умельцами (мошенниками, как говорил папа). А трость была с секретом — в ней был спрятан нож. Ещё у отца был замечательный портфель крокодиловой кожи для денег и документов, который всегда носил Дозор (немецкая овчарка). Портфель этот папа никому, кроме Дозора, никогда не доверял.

Мама, Анна Ивановна Сыченикова, была худенькой, светловолосой, улыбчивой. Она играла на гитаре, очень хорошо пела и изумительно шила (правда, только для своей семьи: платья, рубашки, куртки, шапки, костюмы). Я всегда была очень хорошо одета. Родителей моих любили, у них было много друзей.

В мае, когда у меня начались каникулы (кажется, я закончила четвёртый класс), мы собрались уезжать во Ржев. И объявили войну. Мы собрали своё имущество, отец отвёз его друзьям, и мы поехали. Во Ржеве папа пошёл в военкомат, и его сразу же взяли, не посмотрели, что он хромым.

А мы прожили несколько дней у папиных друзей и вернулись обратно в Оленино, к тётке Мане, — я, мама и Дозор.

Тётя Маня (мамина сестра) очень меня любила, и я этим бессовестно пользовалась. Тётя Маня работала в аптеке. А мама устроилась работать завскладом на какую-то базу.

...Помню, когда летел первый немецкий самолёт, все падали на землю, потому что следом за самолётом тянулась чёрная полоса, и люди думали, что это газ. Маму взрывной волной бросило под брёвна на складе. Как она выбралась, я не знаю, но домой мама пришла сама и всё рассказала. А она была в то время беременна. А в аптеке, где работала тётя Маня, вылетели все стёкла. Потом их стали клеивать бумагой крест-накрест...

До осени мы жили по-прежнему. Ходили с тёткой Маней за брусникой и замочили её три большие бутылки. Я ходила за мясом на бойню (за «убоиной» — это продавали населению бой). Бойня стояла возле леса, народу было очень много. Я встала в конец очереди, но простояла недолго. В очереди зашептались: «Смотрите, вон стоит дочь Михаила Константиновича и Анны

Ивановны». Какие-то люди (незнакомые) отвели меня в сторону и минут через пять вынесли мне сумку, доверху набитую мясом. Как потом оказалось, все куски были очень хорошие. Сумку эту я даже поднять не могла, тащила по земле волоком. А денег с меня не взяли...

С осени люди стали из Оленино уходить. Мы тоже собрали вещи, вырыли в сарае большую яму и всё туда сложили. Часть уложили в кованный старинный сундук. Яму зарыли, замаскировали досками.

У нас осталось две перины, несколько подушек, четыре гуся и санки. С нашей улицы все люди уже ушли. Отправились и мы. В Торжок, к тётке Зое, ещё одной маминей сестре. Положили на санки перины, поставили корзину с гусями, а в санки запрягли Дозора. Идти было трудно: зима, холодно, мама была уже очень тяжёлая. Где-то далеко стреляли. Народу шло много. Первую ночь мы ночевали в лесу на снегу. Тётя Маня всех уложила на перину рядом с Дозором. Мы сняли верхнюю одежду, на одной перине лежали, другой накрывались... А на четвёртый день мы пошли этой же дорогой в своё Оленино: много людей шло уже нам навстречу, сказали, что кругом немцы и идти некуда. Гусей пришлось зарезать, но всех съесть не успели, двоих принесли назад. Я плакала и гусей есть отказывалась. (Я их вырастила с маленьких гусят, носила в переднике. Когда они выросли, стали провожать меня в школу. Они вообще везде ходили за мной как привязанные. Они были серые, очень большие и красивые. Пока в школе шли занятия, гуси ждали меня на лужайке, и потом мы все вместе возвращались домой. Иногда я озорничала — убегала от гусей.



Шитикова М. М. Фото середины 50-х

Как они кричали, хлопали крыльями, спешили, падали — не хотели, чтобы я уходила. Хотя дорогу домой они знали отлично.) Тётя Маня ругала меня, заставляла есть, но я так и не съела ни кусочка. А Дозор от голов и лап не отказался.

...Вернулись в Оленино. Наша хибара стояла покосившись — видно, от взрыва. Из дома всё украли, бутылки с мочёной брусникой были разбиты. Сундук мы не трогали (может, и до сих пор цел). Пошли искать жильё. Недалеко от нашего дома стояли два барака. Длинные, деревянные, с двух сторон — крылечки. Внутри — длинный коридор, по обе стороны — комнаты, много. Что там было раньше, я не знаю. Один барак был уже занят такими же «возвращенцами», другой — свободный. Мы остановились в этом бараке. Комнату выбрали самую маленькую. А все большие комнаты постепенно занимали немцы. Мы принесли из своего дома кровать, самовар с трубой и стол. Спали на кровати втроём, стирали на немцев. Воду грели в самоваре. За работу нам давали продукты.

Через неделю после нашего вселения в барак под нашими окнами немцы построили виселицу. Повесили наших знакомых Кузнецовых, отца и сына. За то, что второй сын был в партизанах. А мать их расстреляли. К этим Кузнецовым мы ходили за яблоками и смородиной, у них за железной дорогой был свой дом...

Видела, как расстреливали заложников. Партизаны убили какого-то офицера. Немцы согнали на площадь людей. Что-то спрашивали (я подглядывала в щёлку в заборе). Потом каждого десятого расстреляли. Нашу хорошую знакомую тётю Наташу Трамбовку тоже расстреляли. Ни за что...

А в комнате рядом с нашей была допросная. Я проделала в фанере, которой была забита дверь, дырочку и подсматривала. Туда приводили наших, били. Однажды я украла оттуда папку с какими-то бумагами и спрятала у нас в комнате. Думала, как-нибудь партизанам отдам. Папку у меня нашли, офицер страшно ругался и хотел меня тут же застрелить, но тётя Маня валялась у него в ногах, целовала сапоги и кричала: «Пан, пан, прости! Она же у нас дура, дура! Она же ненормальная!» Я действительно была похожа на дуру: тётя Маня, услышав за дверью шум, успела сунуть мне в руки трубу от самовара и мазнуть по лицу тряпкой, измазанной в саже. Офицер дал тётке пинка, но меня не тронул. Я даже испугаться не успела. Мне было обидно, что тётка назвала меня дурой. А я училась почти

на одни пятёрки и переходила из класса в класс с похвальными грамотами...

Так мы и жили. Я собирала на дороге семя льняное, чечевицу, кочерыжки на огородах выкапывала, собирала головки ото льна. Мы их толкли в ступке, шелуху продували и ели. Была ещё одна проблема. Мама курила, а сигарет не было. Я ходила по улицам следом за немцами, собирала окурки. Дома потрошила их и сушила табак. Для мамы...

Как-то к нам в комнату зашёл офицер. Зима, холодно, а немцы в летних сапогах. Немец сдёрнул со стены ковёр (последнее, что у нас осталось, мы накрывались им, когда было совсем уж холодно) и заставил маму шить сапоги. Мама сшила. Быстро и хорошо. Немец надел их поверх своих сапог и от радости засмеялся: «Гут, матка! Гут!» А у мамы — все пальцы в крови...

Потом я заболела, многого не помню. Видимо, был тиф. Когда очнулась, все мои живы, но нас очень бомбили. У мамы подходил срок родов. И у неё началось кровотечение. Дома. Тётя Маня приняла роды — мёртвую девочку. У девочки весь бок был синим (возможно, от удара, когда маму взрывом закинуло под брёвна на складе). А послед не выходил, и шла кровь. Тётя Маня послала меня к своей знакомой медсестре, далеко. Я её нашла, но она мне сказала, что у неё болят руки (что-то кожное) и делать она ничего не может. Однако пошла со мной. Потом они с тётей Маней пошли в немецкий медпункт (он был недалеко) и привели солдат с носилками. Маму унесли. Тётя Маня и её знакомая тоже ушли с ними. А у меня случилась истерика. Я кричала до тех пор, пока маму не принесли обратно. Все ушли. Мы с тётей Маней развернули одеяло — мама была мёртвая, от неё сильно пахло лекарством (видимо, наркозом), на животе — большой разрез. До половины было сшито хорошо (наверное, мама была ещё жива), а другая половина — кое-как.

Мы с тётей Маней вымыли маму, одели, причесали. Кто-то принёс гроб. Мне было очень плохо.

Гроб поставили на стол. Мы с тёткой выли. И я всё прикладывала к маминому лицу зеркальце. Мне до сих пор кажется, что оно запотевало... И без конца собирала со лба у мамы вшей...

В эту ночь нас очень бомбили, окна вылетели, гроб ходил ходуном, я его держала. Осколки летали по комнате, сыпались на стол, втыкались в гроб, падали маме на грудь, но меня не задел ни один — словно мама руками отводила их от меня...

Маму схоронили двадцать восьмого февраля. Сvezли на санках на кладбище. Тётя Маня сварила кутью из риса с изюмом, помянули маму этой кутьёй на кладбище. Не знаю, где тётка сумела достать изюм, чтобы устроить такие дорогие поминки. Люди были знакомые. Потом мы вернулись домой.

Стали жить с тёткой. Стирали на немцев. Потом в нашем бараке сделали тифозный госпиталь, но нас не выгнали.

А потом тётя Маня умерла. Было очень голодно, тётка меня спасла, а сама от голода умерла. Ночью, во сне. Я одевала и прибирала её сама, одна. Было трудно, потому что она уже остывала. Я очень плакала, и просила, и ругалась: то ногу согнуть, то руку в рукав пропихнуть...

Так мы остались с Дозором. Я ходила по миру. Добытое делили поровну. Подавали по-разному: кто больше, кто меньше, но давали все. И свои, и немцы. Зашла один раз в дом, а там полно немцев. Все в чём мать родила глядят одежду — вшей выводят. Увидели меня — руками замахали, заорали... Я так бежала, думала — сердце выскочит. Погони не было, но потом я этот дом стороной обходила.

А потом Дозора увезли немцы, и я осталась совсем одна. Ещё раз переболела тифом. И неудивительно: я ведь в тифозных бараках, где раненные лежали, искала в соломе часы и кольца. Мне везло, я всегда что-нибудь находила и меняла на еду.

После тифа у меня отнялась нога. Я почти не могла ходить. Пожилой немецкий доктор дал мне тюбик с мазью и сказал, что делать. Когда мазь кончилась, нога ожила.

Однажды я по запаху вышла на немецкую полевую кухню. Пахло так вкусно, что у меня голова закружилась. Солдаты стояли в очереди, у каждого — котелок. А у меня ничего не было. Я походила кругом, нашла в канаве мятый котелок и тоже встала в очередь. Немцы стали смеяться. Я до сих пор этот смех помню и то, как они на меня друг другу пальцами показывали. Но из очереди не выгоняли. Когда до раздачи осталось человека три, я увидела, что в котелок наливают суп, а в крышку кашу накладывают. А мой котелок был без крышки. Я выскочила из очереди и в той же канаве отыскала крышку. И встала на своё место. Немцы засмеялись ещё громче, но меня не выгнали. Повар (уже молодой человек) молча налил мне супу (до краёв) и каши положил очень много. Я тут же, на краю канавы усевшись, всё съела.

Потом повар меня позвал и сунул потихоньку буханку хлеба (вечером мне за неё дали молока и картошки) и показал

карточку жены и пятерых своих детей. Потом я ещё несколько раз приходила на эту кухню чистить картошку. За это меня кормили и давали с собой хлеба. Но это продолжалось недолго. Повара заменили, и меня прогнали...

Я в то время жила уже у чужих людей. Каких-то дальних родственников жены маминого брата Павла. Они были староверами. Научили меня молиться по-своему. А спала я в сенях на большом деревянном сундуке. И каждую ночь вспоминала прежнюю счастливую жизнь. И почему-то особенно часто — летние гулянья в берёзовой роще: длинные столы накрыты белыми скатертями, много всякой вкусной еды. Папа и мама весёлые, нарядные. Музыка, шум. Папины друзья, среди них много людей в форме. Они громко смеются и по банкам консервным — из револьверов...

...А перед самой войной мне сон приснился: идём мы с папой и мамой, зима. Я саночки везу. Смотрю — стоим на горе, а внизу — черно и страшно. Папа сел на санки и съехал вниз. За ним — мама. И мне бы надо за ними, а мне страшно. Я плачу, а ехать боюсь. Так и вышло: родители сгнули, а я вот осталась... Много хороших людей на моём пути было...

ДОЗОР

Дозор заслуживает отдельного разговора. Я понимаю, любой человек, у которого есть (или когда-то была) собака, считает её самой умной и преданной. Но Дозор был не просто собакой, он был моим братом.

Он появился в нашем доме весной. Появлению Дозора предшествовало какое-то серьёзное событие, о котором я не знала. Просто однажды папа пришёл домой очень поздно. Он был сильно встревожен и расстроен. Они с мамой долго говорили о чём-то на кухне, и, уже засыпая, я услышала конец маминой фразы: «Ну, тогда заведи собаку».

Так в моей жизни появился Дозор. У него была тёмная спина, а всё остальное — рыже-коричневого цвета. Глаза карие, чёрная пасть и ярко-белые клыки. Он был очень тощий, хотя папа говорил, что Дозор «из хорошей семьи» и имеет родословную. Да и звали его как-то длинно и мудрёно, это папа уже сам сократил имя щенка, и он стал Дозором.

Дозор быстро освоился в доме, он рос и хорошел прямо на глазах. Папа пригласил дрессировщика. Дозору учиться нравилось.

Он всё понимал и запоминал очень быстро. Он знал не только все положенные команды, но и много обычных слов. Когда ему говорили: «Ищи хозяина!» — Дозор тут же находил отца, где бы тот ни спрятался, иногда через две-три улицы. Ему даже не нужно было давать понюхать папины вещи. Учитель Дозора очень хвалил.

Но были в учёбе Дозора и не совсем приятные уроки. Учитель выводил Дозора на прогулку и просил кого-нибудь из прохожих угостить щенка свежим мясом, колбасой или ещё чем-нибудь вкусным. А мясо было утыкано короткими острыми иголками. Дозор с радостью хватал угощение (он ел очень много, но всегда был голодным), а потом кашлял, скулил, и из пасти у него текла кровь. Мне было жалко Дозора, но папа запретил мне вмешиваться и жалеть его. К счастью, таких уроков было немного. Я помню всего два. Один раз Дозора угостил мясом незнакомый бородатый дядька, а второй раз ему предложила душистый кусок колбасы моя знакомая девочка с соседней улицы. Больше Дозор никогда ни у кого не взял ни одного куска без нашего разрешения.

Дозор очень высоко и красиво прыгал, барьер брал с места, без разбега. Однажды папа взял его к себе на работу. В ресторане был ремонт, Дозора посадили в старый, огромный, очень высокий чан, чтобы он не путался под ногами. Повар Митя принёс ему мяса, отец сказал: «Дозор, можно, ешь». Пёс стал есть, а Митя свесился вниз и стал его дразнить. Он рычал на Дозора и говорил: «Отда-а-ай!» Отец предупредил, что Дозор злой и прыгает высоко, но Митя только посмеялся: «Он же щенок!» — и продолжал Дозора дразнить. Дозор прыгнул и разорвал Мите губу и нос. Пришлось зашивать. Но зато все сразу Дозора зауважали. А уж когда он «при исполнении» нёс папин портфель, по всей улице для них был зелёный свет.

Дозор умел снимать намордник по команде «Грабят!» двумя передними лапами. По команде «Замри!» мог лежать или сидеть, а иногда и стоять на задних лапах очень долго. Я частенько этим злоупотребляла, но Дозор мужественно выполнял команду и даже в мою сторону не смотрел, не просил меня сжалиться.

Мама сшила Дозору упряжку, я запрягала его в санки, и он катал меня и возил в школу. Если хотел поиграть, вываливал меня в снег. Но время он понимал очень хорошо, лучше меня. В самый разгар игры бежал вдруг к санкам и поднимал зубами вожжи. Я ни разу в школу не опоздала. Иногда он ждал меня до конца занятий, но если дома папа ему говорил: «Дозор, возвращайся домой!» — он уже меня не слушался. Как только я поднималась на

школьное крыльцо, Дозор бежал домой. Даже если я приказывала ему: «Дозор, ждатель!» — он улыбался, скулил, влиял хвостом, пятился и всё равно бежал домой, моей команды не выполнял.

У нас был кот Васька. Серый, полосатый, очень крупный и сильный. И наглый. Когда появился Дозор, Васька хотел его отлупить, но мама вовремя вмешалась и шлёпнула кота полотенцем. Васька разрешил Дозору себя обнюхать и облизать, а потом стал над щенком издеваться. Дозора посадили в кухне на цепь. Васька зацеплял лапой миску Дозора, подтягивал к себе, выбирал оттуда самые лучшие куски и тут же садился умываться. Дозор топал, свистел носом от обиды и возмущения, но достать наглого кота не мог. Но он быстро рос, и в один прекрасный день Васькина морда оказалась по самые уши в миске со щами, откуда он пытался вытащить большой кусок мяса. Дозор намертво прижал его лапой за шею и никак не хотел отпускать. Пришлось папе вмешаться, иначе кот захлебнулся бы.

С этого момента всё изменилось. Васька больше не воровал у Дозора еду, стал ходить с нами гулять и даже свой ночлег перенёс к Дозору под бок.

Однажды к нам на улицу забежал незнакомый пёс. Белый, гладкий, похожий на поросёнка. Васька спокойно валялся на травке (он вообще собак не боялся) и не обратил на чужого пса никакого внимания. А пёс схватил Ваську и стал трепать. Тот успел только пискнуть чуть слышно. Дозор был дома, на цепи. Услышав Васькин голос, он страшно зарычал и стал рваться к открытому окну. Мама хотела спустить его с цепи, но побоялась подойти — так страшен был Дозор. А чужой пёс тут же бросил Ваську и убежал. Я принесла полузадушенного кота домой. (Его спасли густая шерсть и сильные мускулы.) Дозор лаял и успокоился только тогда, когда я положила Ваську возле него. Он так и не дал нам его забрать, «лечил» сам: вылизывал, переворачивал носом с боку на бок, легонько покусывал Ваське то живот, то уши, то задние лапы. И Васька задышал. С этого дня они вообще стали неразлучны.

А как здорово мы втроем играли! Дозор воровал у мамы для меня конфеты. Конфету он приносил аккуратно, за хвостик, старался не облизывать и тихонько пихал мне в руку. Это было сигналом к сумасшествию, называемому «игра в ёжика». Я хлопала в ладоши и кричала: «Молодец, Дозор! А где же наш ёжик?» Тут же прибежал Васька (если был где-то поблизости). Он сворачивался клубком, как ёжик, и Дозор начинал катать этот клубок по дому, а я пыталась его отнять. Иногда

Дозор брал Ваську в зубы и убегал с ним на улицу. И мы носились вокруг дома до полного изнеможения.

Когда папе некогда было гулять с Дозором, он надевал на него намордник и говорил: «Гуляй час!» — или: «Дозор, недолго!» Это означало пятнадцать-двадцать минут. И Дозор чётко знал своё время. Но однажды вместо двадцати минут он пришёл домой через два часа, грязный и без намордника. Лёг у папиных ног и закрыл глаза. Отец его выдрал ремнём. Дозор не шевельнулся и голоса не подал, а я сидела и тихонько плакала, мне было жалко Дозора. Потом папа отвёл его в сарай и посадил мордой в тёмный угол. Сказал: «Сиди!» — и ушёл. А мне ходить в сарай и жалеть Дозора не велел. Но я не послушалась. Как только отец ушёл, я тут же побежала освобождать Дозора. Я говорила ему ласковые слова, гладила и ласкала. Но Дозор со мной не пошёл. Лизнул меня в щёку и отвернулся опять в угол, как его отец посадил. Вдруг слышу: у моих ног заурчал кто-то. Смотрю, а это Васька. Ходит вокруг Дозора, бодает его и мурлычет. Хотела я кота из сарая унести, но он из рук моих вырвался и снова к Дозору вернулся. Так я и ушла ни с чем. Мне было очень обидно, я долго плакала и вечером не пошла с папой в сарай Дозора прощать. Но папа сказал, что Дозор умница и мне обижаться на него не следует. «У настоящей собаки, — сказал папа, — хозяин может быть только один. Остальные — друзья. А наш Дозор — настоящая собака!»

Когда папа ушёл на фронт, Дозор очень скучал. Он даже резко похудел. Разыскивал папины вещи, бросался к двери при любом шорохе. Но я ему говорила: «Не жди, Дозор. Хозяйина не будет. Долго». Слово «долго» Дозор знал и постепенно успокоился. Хотя ждать папу не перестал.

Когда умерли мама и тётя Маня, мы с Дозором остались вдвоём. Уж не помню теперь, почему мы оказались не в своём бараке, а в старом дырявом сарае. Ходили, просили милостыню. Мне не раз предлагали отдать Дозора или даже продать. Говорили, что он всё равно сдохнет. Но я даже слушать этого не хотела. Потом Дозор сильно отощал, и я не стала брать его с собой. Закрывала в сарае и говорила: «Дозор, жди. Тихо». И он ждал. Всю еду, что я собирала за день, мы делили поровну. Конечно, Дозору было этого мало. У него бурчало в животе и сводило челюсти, но он проглатывал свою порцию и отворачивался. Он ни разу не отобрал у меня ни крошки. Однажды, когда мы с Дозором грелись на солнышке, в наш двор зашли двое автоматчиков и офицер. Офицер был невысокий, худой, с огромными серыми глазами. Очень

молодой. Совсем мальчишка. Увидев Дозора, он восхищённо затараторил, замахал руками. Один из солдат ушёл и вернулся с переводчиком. Мне пришлось открывать Дозору рот, поднимать лапы, выворачивать уши. Дозор, чуя неладное, рычал, но меня слушался. Один солдат держал под прицелом меня, другой — Дозора. Потом переводчик принёс кусок брезента и большую сеть. Меня пинками загнали в сарай, а на Дозора накинули сначала сеть, а потом завернули в брезент. Пригнали мотоцикл и увезли. Дозор рычал и пытался кусаться, но сильно сопротивляться не мог. Он очень ослаб. А меня заколотили в сарае, прибив на дверь две доски, потому что я кричала и бросалась на солдат.

Не помню, сколько я пролежала в сарае и как потом выбралась оттуда. Не помню, сколько прошло дней или часов, делала ли я что-то и ходила ли куда. Помню только, что Дозор вернулся. Ещё более тощий. Видимо, он вообще ничего не ел, так как никогда не брал еду у чужих людей. Но не успели мы порадоваться друг другу, как во двор въехал мотоцикл, и я опять увидела того же самого офицера и переводчика. Я заплакала, Дозор затрясся и зарычал. Мне велели унять собаку. Офицер стал манить Дозора колбасой. Она очень вкусно пахла, меня замутило. Дозор снова зарычал, голову отвернул в сторону, из пасти у него ручьём бежала слюна. Тогда переводчик мне сказал, что если я не накормлю своего пса и не велю ему пойти с ними, Дозора сейчас же застрелят. А так он будет служить немецкой армии, его будут сытно и вкусно кормить. Это породистый пёс. Русская замарашка не имеет права держать такую собаку. Я поцеловала Дозора, погладила по голове и сказала: «Возьми, Дозор, можно». Он тут же проглотил колбасу, даже не жуя. Потом я надела на шею Дозору ошейник, пристегнула поводок, отдала поводок офицеру, ещё раз погладила Дозора, поцеловала и сказала: «Иди, Дозор, иди! Всё будет хорошо...» До сих пор вижу, как он, шатаясь, идёт к мотоциклу и всё на меня оглядывается. А я улыбаюсь (не плачу!) и говорю: «Иди, Дозор, иди. Всё хорошо...» И офицер улыбается и что-то говорит Дозору по-своему. Тихо и ласково. Видно, он понимал толк в собаках, этот мальчишка...

Когда они уехали, я сидела в сарае, выла и закрывала руками рот...

Больше я Дозора не видела.

И собак в своей жизни не заводила.

Никогда.